

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Петрашевский. Цензурный террор. Столкновение Некрасова с Достоевским - Дружинин и его первая повесть

В 1848 году мы жили летом в Парголове; там же на даче жил Петрашевский, и к нему из города приезжало много молодежи [132]. Достоевский, Плещеев и Феликс Толль иногда гостили у него. Достоевский уже не бывал у нас с тех пор, как Белинский напечатал в "Современнике" критику на его "Двойника" и "Прохарчина". Достоевский оскорбился этим разбором. Он даже перестал кланяться и гордо и насмешливо смотрел на Некрасова и Панаева; они удивлялись таким выходкам Достоевского.

Петрашевский не бывал у нас, но знал Панаева и иногда при встрече разговаривал с ним. Петрашевский имел всегда вид мрачный; он был небольшого роста, с большой черной бородой, длинными волосами, всегда ходил в плаще и в мягкой шляпе с большими полями и с толстой палкой. Дачников тогда в Парголове проживало немного, так что все знали не только друг друга в лицо, но и образ жизни каждого. Частые сборища молодежи у Петрашевского были известны всем дачникам. Петрашевского часто можно было встретить на прогулках, окруженного молодыми людьми.

В 1848 году Кавелин и Редкин оставили Московский университет и переселились в Петербург искать себе другого рода службу. Многие винили Грановского за то, что он остался при университете. Но Грановский прямо заявил, что никогда не оставит Московского университета, что бы там ни творилось. "Я не могу жить без Московского университета, - твердил он, - и никакие перемены в нем не заставят меня бросить его!" В это время Грановский приехал на короткое время в Петербург по делам. Он погостил у нас на даче два дня вместе с Кавелиным.

В 1848 году строгость цензуры дошла до того, что из шести повестей, назначенных в "Современник", ни одна не была пропущена, так что нечего было набирать для ближайшей книжки. В самом невинном рассказе о бедном чиновнике цензор усмотрел намерение автора выставить плачевное положение чиновников в России. Приходилось печатать в отделе беллетристики переводы. Роман Евгения Сю не был дозволен, оставалось пробавляться Ламартином. Некрасову пришла мысль написать роман во французском вкусе, в сотрудничестве со мной и с Григоровичем. Мы долго не могли придумать сюжета. Некрасов предложил, чтобы каждый из трех написал по главе, и чья глава будет лучше для завязки романа, то разработать сюжет, разделив главы по вкусу каждого. Я написала первую главу о подкинутом младенце, находя, что его можно сделать героем романа, описав разные его похождения в жизни. Григорович принес две странички описания природы, а Некрасов ничего не написал. Моя первая глава и послужила завязкой романа; мы стали придумывать сюжет уже вдвоем, потому что Григорович положительно не мог ничего придумать. Когда было написано несколько глав, то Некрасов сдал их в типографию набирать для октябрьской книжки "Современника", хотя мы не знали, что будет далее в нашем романе; но так как писалось легко, то и не боялись за продолжение.

Некрасов дал название роману "Три страны света", решив, что герой романа будет странствовать. Цензор потребовал, чтобы ему представили весь роман, не соглашаясь иначе пропустить первые главы. Некрасов объяснил, что роман еще не весь написан. Цензор донес об этом в главный цензурный комитет, который потребовал от авторов письменного удостоверения, что продолжение романа будет нравственное. Я ответила, что в романе "Три страны света" - "порок будет наказан, а добродетель восторжествует", Некрасов подтвердил своею подписью то же самое, и тогда главное цензурное управление разрешило напечатать начало романа.

До этого времени в русской литературе еще не было примера, чтобы роман писался вдвоем, и по этому поводу В.П.Боткин говорил Панаеву: "Нельзя, любезный друг, нельзя срамить так свой журнал - это балаганство, это унижает литературу" [133][134].

Бедный Панаев потерялся, так как от других слышал, напротив, похвалы о начале романа. Я предложила, чтобы Некрасов один ставил свое имя, но он не согласился. К удивлению нашему, в конце ноября подписка на "Современник" возобновилась, а на новый год в декабре иногородные подписчики стали требовать высылки им и 1848 года, так что все оставшиеся экземпляры этого года разошлись; их даже не хватило для удовлетворения всех требований. В.П.Боткин изменил свое мнение и с участием осведомлялся о ходе нашей работы. В редакции было получено много писем от иногородных подписчиков с благодарностями за "Три страны света", но получались и такие письма, в которых редакции предлагали роман, написанный десятью авторами, под названием "В пяти частях света", и писали, "что этот роман будет не чета вашему мизерному бездарнейшему роману".

Мы встречали немало досадных препятствий со стороны цензора: пошлют ему отпечатанные листы, а он вымарает половину главы, и надо вновь переделывать. Пришлось бросить целую часть и заменить ее другой. Некрасов писал роман по ночам, потому что днем ему было некогда, вследствие множества хлопот по журналу; ему пришлось прочитать массу разных путешествий и книг, когда герой романа должен был отправиться в путешествие. Я писала те главы, действие которых происходило в Петербурге. Иногда выдавались такие минуты, что мы положительно не знали, как продолжать роман, потому что приходилось приноравливаться к цензуре. Боже мой, как легко стало, когда мы закончили "Три страны света". Но Некрасов тотчас же уговорил меня писать новый роман, "Мертвое озеро".

Однажды явился в редакцию Достоевский, пожелавший переговорить с Некрасовым. Он был в очень возбужденном состоянии. Я ушла из кабинета Некрасова и слышала из столовой, что оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен, как полотно, и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей.

Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии.

- Достоевский просто сошел с ума! - сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. - Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор на его сочинение в следующем номере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел [135].

В апреле месяце, не могу припомнить какого числа, я была с Панаевым в гостях у одних приезжих знакомых; там между прочими лицами был Н.А.Спешнев. Я его мало знала, но здесь долго разговаривала с ним. Из гостей мы втроем отправились домой, часу во втором ночи; мы шли пешком, весело разговаривая; ночь была светлая, и уже начинало всходить солнце. Спешнев был в очень веселом настроении духа и проводил нас до самого нашего дома; мы были уверены, что скоро увидимся, потому что он обещался прийти обедать к нам на неделе. Но на другой же день мы узнали, что Спешнев в эту самую ночь был арестован, следовательно, как только вернулся домой, проводив нас [136]. Одновременно с ним были взяты: Петрашевский, Достоевский, Плещеев и Толль. Каждый день мы узнавали о новых арестах. Ходили слухи, что у Петрашевского нашли документы и письма, сильно компрометирующие его самого и всех его приятелей.

Цензурные строгости дошли до чего-то невероятного; нас уверяли, что "Современник" непременно запретят; в редакции каждую минуту ждали ночного посещения жандармов. Никитенко еще осенью 1848 года отказался от редакторства, и Панаева утвердили редактором. 31-го октября Панаеву и Некрасову была прислана от Л.В.Дубельта бумага, чтобы они на другой день, к 10 часам утра, явились к шефу жандармов графу А.Ф.Орлову [137]. Оба ожидали, что им объявят запрещение издавать журнал, а может быть, даже арестуют. Но они благополучно вернулись домой и рассказали, что граф Орлов призывал их затем, чтобы предупредить, что, если журнал будет держаться прежнего направления, то им несдобровать.

- Будьте осторожны, господа! Тогда я уже ничего не буду в состоянии сделать для вас, - сказал граф Орлов [138].

Мы узнали впоследствии, что графу Орлову была подана докладная записка с выписками из разных статей, напечатанных в журнале, в доказательство зловерного его направления.

У нас служил мальчик, лет 16, круглый сирота. Я взяла его еще дитёй. Из замухрышки образовался такой отчаянный франт, что иногда он задерживал обед, потому что не хотел являться к столу иначе как завитой, ругался с прачкой, если она ему нехорошо накрахмалила рубашку, не хотел чистить ножи и вилки, находя, что у него испортятся руки; вообще он держал себя с такою важностью, что один господин прозвал его "бароном". Этот мальчик вдруг начал по вечерам пропадать из дому. Я сперва молчала, но потом рассердилась и объявила ему, что, если он еще раз уйдет без спросу, то я более его держать не буду. Он побледнел и горько зарыдал, повторяя: "Я не виноват, ей-богу, не виноват; мне велят, я не смею". Меня удивили его слова, испуг и слезы, и я начала его расспрашивать, кто ему велит уходить из дому, но он не отвечал и только горько плакал. Он любил меня, да и я возилась с ним много, уча его читать, писать, и ухаживая во время болезни. Я дала ему слово, что никто не узнает, если он мне откроет, кто велит ему каждый день убегать из дому. Оказалось, какие-то личности настращали его и обязали каждый день доносить обо всем, что делается у нас.

- Ну что же, ты все пересказываешь? - спросила я.

- Все-с, - рыдая отвечал он.

Так как все мы были очень осторожны в разговорах и у нас не было никаких тайных сборищ, то я и разрешила ему передавать бюллетени о нашем поведении каждый вечер. Василий (так звали мальчика) по секрету сообщил мне, что дворник нашего дома тоже доносит, кто бывает у нас. Мы догадывались об этом ранее, потому что дворник опрашивал каждого, кто проходил к нам или выходил от нас, и всегда торчал под воротами около нашей лестницы. Прежде дворники никогда не дежурили у ворот, и такое добровольное дежурство не могло не обратить нашего внимания.

Я уже говорила раньше, что еще в Париже В.П.Боткину всюду мерещилось, что за ним следят подозрительные личности. Можно судить, что с ним происходило теперь. Он, по обыкновению, остановился у нас и надоедал своими наставлениями, что мы слишком неосторожно говорим при прислуге. Вдруг ему вообразилось, что Достоевский непременно запутает его, что в бумагах Достоевского могут найти какую-нибудь записку, писанную к нему года два тому назад, и Боткин озлобленно говорил:

- Нечестно, подло не уничтожать записок знакомых. Можешь рисковать собой сколько угодно, но других обязан не вмешивать в свое дело.

Он боялся оставаться в Москве, потому что в одном доме, где собиралось много молодежи, он имел несчастье высказать свою радость по поводу переворота в Париже в 1848 году и вследствие этого прослыл демократом.

- Боюсь я теперь этих мальчишек, - говорил он, - попадутся и запутают тебя!

Боткин потребовал, чтобы Панаев отыскал все его письма и записки и отдал бы ему для уничтожения.

- Мало ли что я мог несколько лет тому назад написать! Захватят с твоими бумагами мои письма и притянут меня! Изволь непременно отыскать все мои письма и подай мне; я их сожгу в камине.

Раз, в два часа ночи, мы сидели и слушали рассказ Панаева, только что вернувшегося домой с новостями о деле Петрашевского и его соучастников. В эту самую минуту раздался сильный звонок в парадной двери. У всех мелькнула одна и та же мысль: какой мог быть посетитель в такую пору? Боткин так испугался, что начал умолять не отворять двери и дать ему время убежать с черного хода. Ему доказывали, что его задержат и там, и он этим может хуже повредить себе. При втором звонке, он скрылся из комнаты. Тревога оказалась напрасной.

Это был М.Н.Лонгинов, вздумавший заехать к нам, воображая, что у нас засиделись гости, так как он увидел с улицы свет в окнах. Пошли успокаивать Боткина и открыли его лежащим на своей постели, закутанным с головой одеялом. Он накинулся самым неистовым образом на своего милейшего друга, как он называл всегда Лонгинова, и принялся читать ему наставление, что порядочные люди в такие часы не являются в гости. Даже по уходе Лонгинова он долго не прекращал изливать свою злобу на него.

Никто не мог ожидать, что из тогдашнего добряка, лентяя, вечно острящего над цензорами Лонгинова сделается через несколько лет самый ужасный преследователь печати [139].

В.П.Боткин и во многих других случаях выказывал свой трусливый характер.

Иногда жалко было смотреть на него, как он сам себе отравлял жизнь разными нелепыми страхами. Мелочность и расчетливость его переходили часто в скупость.

Когда Боткин останавливался у нас, то всегда выходили истории с лакеями; он жаловался на них и удивлялся, что я держу таких воров, а лакеи приходили ко мне также с жалобами, что Василий Петрович подозревает их в краже у него леденцов и тому подобной дряни. Раз из-за перочинного грошового ножичка, пропавшего с письменного стола, поднялась целая буря. Лакей хотел отходить, обиженный, что его заподозрили в краже ножичка, который скоро нашелся, - сам же Василий Петрович положил его в жилетный карман и позабыл вынуть, а через два дня, надевая жилет, нашел этот ножичек.

Надо было жить с Боткиным, чтобы убедиться, до какой степени этот умный, образованный человек был мелочен, труслив, расчетлив, и как быстро менял свои мнения о людях и вещах.

В последний год своей жизни он отбросил свою мелочную расчетливость, окружил себя комфортом, нанял хорошую квартиру, купил тысячные картины, взял дорогого повара. Но все это уже было поздно: он почти потерял зрение и не мог любоваться своими картинами, а болезнь отнимала у него возможность наслаждаться кушаньем, приготовляемым его поваром. Весь расслабленный, он сидел в креслах и дремал под голос чтицы, которую нанимал, чтобы она ему читала французские журналы.

Панаев вернулся однажды от больного Боткина расстроенный и рассказывал, какое тяжелое впечатление произвел на него Василий Петрович, упрекавший самого себя за то, что ранее не хотел пользоваться своими средствами: он говорил, что ему горько и обидно сознавать, что он бесцельно отказывал себе во всем и делал глупость, не желая даже проживать процентов с своего капитала; что теперь он денег не жалеет, но у него уже нет сил чем-либо наслаждаться [140].

Я позабыла упомянуть о А.В.Дружинине, который в конце 1848 года [141] выступил на литературное поприще с первым своим произведением, повестью "Полинька Сакс". Это было большим счастьем для "Современника", потому что в цензурном отношении произведение Дружинина безупречно.

"Современнику" дали цензора А.Л.Крылова - человека страшно трусливого, который просто был мучеником, когда Некрасов упрасивал его пропустить зачеркнутые им места в статье, вследствие чего выходила бессмыслица.

Крылов ничего не хотел слышать, зажимал уши и в отчаянии восклицал:

- Господи, подвести меня хотят, только два года мне надо дотянуть до пенсии, а они хотят лишить меня ее. Я из-за журнала потерял здоровье, а у меня жена, дети!

Крылов в самом деле был страдальцем от постоянного страха. Он иногда не разрешал рассылать подписчикам уже отпечатанную книжку, потому что ему приходило в голову, что

Некрасов схитрил и восстановил зачеркнутые им фразы, или ему казалось, что пропущенная им статья грозит ему опалой, и он перечитывал снова все статьи и кричал на посланного Некрасова:

- Так и скажи Николаю Алексеевичу, что, пока я не прочту и не обдумаю хорошо, не дам разрешения **на** выпуск номера, не смей и ходить ко мне!

А между тем подписчики роптали на поздний выход книжек.

Крылова сменил цензор В.Н.Бекетов; этот не был так простодушен и труслив. Бекетов тонко намекнул Некрасову и Панаеву, что им гораздо выгоднее жить с ним в ладу. Он очень любил хорошо поесть и в особенности хорошо выпить и после обеда делался откровенным.

- Быть цензором "Современника" дело нелегкое и рискованное, - говорил он. - Я, знаете, такой прямой человек, что во всяком деле люблю определять обоюдные соглашения. Задержек и придилок с моей стороны не будет. Я не из трусливых, да и знаю, где раки зимуют, писатель меня не проведет, как бы он ни хитрил в своей статье. Чутье у меня тонкое! Не прогневайтесь, если я просто-напросто всю статью не пропущу, - к чему ее пестрить красными чернилами; может быть, найдется простофиля, который поставит два-три креста и пропустит! - и он смеялся. - Вы только цените меня, и мы дружно заживем.

Бекетова невозможно было уломать, чтобы он пропустил вещь, которую он находил для себя опасной. Он на это отвечал: "Нет-с, своя рубашка ближе к телу!"

По выходе каждой книжки "Современника" Бекетов говорил, смеясь:

- После трудов надо, господа, и отдохнуть. Я завтра приеду обедать к вам, только по-семейному, чтобы можно было побеседовать по душе, а то когда народу много за обедом, так душа не может быть нараспашку!

Раз, после семейного обеда, Бекетов сказал:

- Эх, господа писатели, несправедливо вы относитесь к нам, побыли бы на нашем месте, так не так бы еще красные кресты ставили. Уж на что я дока, сами убедились, а вот какой со мной случай был: пропустил я одну брошюру, самую невинную. Вдруг в комитет бумага от одного ведомства: сделать строжайший выговор цензору за пропуск брошюры, в которой допущены такие-то и такие-то нарекания на наши распоряжения. Фу, ты, господи! ничего подобного не было в брошюре. Бац, из другого ведомства бумага: сделать строжайший выговор цензору за ту же брошюру, - и совершенно другое толкование ее смысла. Вот какое наше положение! Будь хоть семи пядей во лбу, а не убережешься от взысканий, потому что нет возможности предугадать, кому какое придет толкование одной и той же книги! Я ведь не долго просижу цензором: как подыщу другое место - и распрощаюсь с вами. Ох, не раз пожалеете, господа, теперь вы мало цените меня!

Но Бекетов был несправедлив: он имел вещественные доказательства дорогой оценки своей особы.

Когда было напечатано первое произведение Дружинина в "Современнике" в 1847 году, Тургенев говорил Некрасову и Панаеву:

- Положительно везет "Современнику"! Вот это талант, не чета вашему "литературному прыщю" [142] и вознесенному до небес вами апатичному чиновнику Ивану Александровичу Гончарову. Эти, по-вашему, светила - слепорожденные кроты, выползшие из-под земли:

что они могут создать? А у Дружинина знание общества; обрисовка Полиньки Сакс художественная, видишь Гётевские тонкие штрихи, а никто в мире, кроме Гёте, не обладал таким искусством создавать грациозные типы женщин. Я прозакладываю голову, что Дружинин быстро займет место передового писателя в современной литературе... И как я порадовался,

когда он явился ко мне вчера с визитом - джентльмен!.. Надо, к сожалению, сознаться, что от новых литераторов пахнет мещанской средой. Я оттого перестал бывать по субботам у Одоевского, что мне просто стыдно, до чего не умеют себя держать прилично новые литераторы.

И какой чудак Одоевский, сам себе задает каждую субботу порку, как будто он находится в школе. Я вижу, как его шокируют манеры дурного тона "литературного прыща", когда он бывает у него. Дорого же обходится Одоевскому желание заслужить популярность между литераторами! Я понимаю княгиню, что она не позволяет Одоевскому вводить в ее салон всех его субботних гостей... Да, господа, низко упали литераторы, от них со страхом сторонится светское общество, тогда как с прежними литераторами все светские женщины добивались сближения, потому что тогда литераторы вполне были джентльменами, а те, кто не принадлежал к высшему кругу, смиренхонько себе жили в своей среде. А теперь все с гонором, с претензиями, что мы, мол, плюем на все светские приличия!

Тургеневское соболезнавание, что литераторы потеряли прежний престиж в светском обществе, скоро выяснилось для меня. К Панаеву приехал с визитом один молодой человек из высшего круга и при мне сожалел, что ему не удалось исполнить просьбу Тургенева; ввести его в салон к графине М..., потому что она не желает видеть в своем доме литераторов... Она, чудачка, почему-то боится русских литераторов, а благоволит только к французским.

Всегда как-то случайно приходилось узнавать о Тургеневских хлопотах попасть в светские салоны.

Так как Дружинин не только бывал у Панаева, но одно время прожил у него на квартире более месяца, то нам можно было хорошо узнать его характер. Дружинин был всегда ровен, никогда не горячился в разговоре, относился ко всему довольно индифферентно, скучал, если завязывался при нем продолжительный разговор о политике и об общественных вопросах.

- Ну, что это, господа! - говорил он. - Охота вам рассуждать о таких сухих предметах, гораздо лучше поговорить о дамах. (Дамами он почему-то называл женщин.)

Дружинин находил, что в журнале не следует печатать повести и рассказы с сюжетами из народной жизни.

- Подписчики у журнала люди образованные, - говорил он. - За что же преподносить им чтение о той среде, которая для них чужда? Ну, интересно ли образованному читателю знать, что Ерема ест мякину, а Матрешка воет над павшей коровой! Право, все, что пишут о русском мужике, преувеличено. Какие это у него потребности могут быть к другой жизни? Он совершенно доволен и счастлив, если ему удастся в праздник опиться до опухолы брагой, или до скотского состояния водкой.

Когда Дружинина упрекали, что он безучастно относится ко всем современным вопросам, то он отвечал:

- Целесообразнее будет, если я стану видеть одни хорошие стороны жизни. К чему мне портить свою кровь разными волнениями! Я лучше буду наслаждаться своей молодостью. От наших разговоров и волнений мужик не перестанет есть мякину, общественный строй не изменится, за что же я сам себе буду отравлять жизнь? Все это происходит у вас от пессимистического взгляда на жизнь, а у меня оптимистический взгляд.

Дружинину ошибочно приписывают мысль об основании Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Этот проект зародился в голове одного моего знакомого, вовсе не литератора, над которым подсмеивались, когда он доказывал необходимость устроить Литературный Фонд. Особенно подсмеивался над этим проектом Дружинин; но не прошло и года, как он осуществил его.

Когда на обеде, данном по поводу этого. Дружинину, за его мысль об учреждении Литературного Фонда, провозглашались тосты и говорились ему хвалебные речи, я ожидала, что он упомянет, что заимствовал эту мысль у человека, который в это время уже был в Сибири; но Дружинин, вероятно, позабыл, за давностью времени [143].

За 1848 и 1849 годы на "Современнике" накопилось много долгов, надо было их выплачивать, и потому среди 1850 года денег не было, а между тем Тургеневу вдруг понадобились две тысячи рублей. Приходилось занять, чтобы скорее удовлетворить Тургенева, который объявил Некрасову: "Мне деньги нужны до зарезу, если не дашь, то, к моему крайнему прискорбию, я должен буду идти в "Отечественные Записки" и запродать себя, и "Современник" долго не получит от меня моих произведений". Эта угроза страшно перепугала Панаева и Некрасова. Они нашли деньги при моем посредстве и за моим поручительством.

Не прошло и года, как из-за Тургенева произошла остановка в печатании книжки "Современника". Он должен был дать рассказ, но не прислал его и даже с неделю не показывался в редакцию, что было необыкновенно, так как он, если не обедал у нас, то непременно приходил вечером. Некрасов волновался, два раза ездил к нему, но не заставал дома; наконец, написал ему записку, убедительно прося тотчас прислать рукопись. Тургенев явился и, войдя в комнату, сказал:

- Браните меня, господа, как хотите, я даже сам знаю, что сыграл с вами скверную штуку, но что делать, вышла со мной пренеприятная история. Я не могу дать вам этого рассказа, а напишу другой к следующему номеру.

Такое неожиданное заявление ошеломило Некрасова и Панаева; сначала они совсем растерялись и молчали, но потом разом закидали Тургенева вопросами: как? почему?

- Мне было стыдно показываться вам на глаза, - отвечал он, - но я счел мальчишеством далее водить вас и задерживать выход книжки. Я пришел просить, чтобы вы поместили что-нибудь вместо моего рассказа. Я вам даю честное слово написать рассказ к следующему номеру.

Некрасов и Панаев пристали, чтоб он объяснил им причину.

- Даете заранее мне слово никогда не попрекать меня?

- Даем, даем, - торопливо ответили ему оба.

- Теперь мне самому гадко, - произнес Тургенев, и его как бы передернуло; тяжело вздохнув, он прибавил: - Я запродам этот рассказ в "Отечественные Записки"! Ну, казните меня.

Некрасов даже побледнел, а Панаев жалобно воскликнул:

- Тургенев, что ты наделал!

- Знаю, знаю! все теперь понимаю, но вот! - и Тургенев провел рукой по горлу, - мне нужно было 500 рублей. Идти просить к вам - невежливо, потому что из взятых у вас двух тысяч я заработал слишком мало.

Некрасов дрожащим голосом заметил: "Неуместная деликатность!"

- Думал, может, у вас денег нет.

- Да 500 рублей всегда бы достали, если бы даже их не было! - в отчаянии воскликнул Панаев. - Как ты мог!.. Некрасов в раздражении перебил Панаева:

- Что сделано, то сделано, нечего об этом и разговаривать... Тургенев, тебе надо вернуть 500 рублей Краевскому.

Тургенев замахал руками:

- Нет, не могу, не могу! Если б вы знали, что со мной было, когда я вышел от Краевского - точно меня сквозь строй прогнали! Я, должно быть, находился в лунатизме, проделал все это в бессознательном состоянии; только когда взял деньги, то почувствовал нестерпимую боль в руке, точно от обжога, и убежал скорей. Мне теперь противно вспомнить о моем визите!

- Рукопись у Краевского? - спросил поспешно Некрасов.

- Нет еще!

Некрасов просиял, отпер письменный стол, вынул оттуда деньги и, подавая их Тургеневу, сказал: "Напиши извинительное письмо".

Тургенева долго пришлось упрашивать; наконец он воскликнул:

- Вы, господа, ставите меня в самое дурацкое положение... Я несчастнейший человек!.. Меня надо высечь за мой слабый характер!.. Пусть Некрасов сейчас же мне сочинит письмо, я не в состоянии! Я перепису письмо и пошлю с деньгами.

И Тургенев, шагая по комнате, жалобным тоном восклицал:

- Боже мой, к чему я все это наделал? Одно мне теперь ясно, что где замешается женщина, там человек делается непозволительным дураком! Некрасов, помажь по губам Краевского, пообещай, что я ему дам скоро другой рассказ!

Тургенев засмеялся и продолжал:

- Мне живо представляется мрачное лицо Краевского, когда он будет читать мое письмо! - и, передразнивая голос Краевского, он произнес: - "Бесхарактерный мальчишка, вертят им, как хотят, в "Современнике"! - Придется мне, господа, теперь удирать куда ни попало, если завижу на улице Краевского... О, господа, что вы со мной делаете [144].

Когда Некрасов прочитал черновое письмо, то Тургенев воскликнул: "Ну, где бы мне так ловко написать! Я бы просто бухнул, что находился в умопомешательстве, оттого и был у Краевского, а когда припадок прошел, то и возвращаю деньги".

С тех пор Тургеневу был открыт неограниченный кредит в "Современнике".

Раз, после выпуска книжки, у нас собралось обедать особенно много гостей. После обеда зашел общий разговор о том, как было бы хорошо, если бы разрешили издать сочинения Белинского, - тогда дочь его была бы обеспечена.

- Господа, - воскликнул вдруг Тургенев, - я считаю своим долгом обеспечить дочь Белинского. Я ей дарю деревню в 250 душ, как только получу наследство.

Это великодушное заявление произвело большой эффект. В честь Тургенева был провозглашен тост. Один из литераторов даже прослезился и, пожимая руку Тургенева, проговорил: "Великодушный порыв, голубчик, великодушный!"

Когда восторги приутихли, я обратилась к сидевшему рядом со мной Арапетову [145] и сказала ему:

- Я думала, что уже сделалось анахронизмом дарить человеческие души; однако, как вижу, ошиблась.

Мое замечание произвело эффект совсем другого рода. Многие из гостей посмотрели на меня с нескрываемой злобой, а Некрасов и Панаев сконфуженно пожали плечами. Иногда я была не в силах совладать с собой; бывало, долго слушаю, что говорят кругом, и неожиданно для самой себя выскажу какое-нибудь замечание, хотя я вполне сознавала всю бесполезность моих замечаний; кроме неприятностей из этого ничего не выходило.

Полистная плата Тургеневу с каждым новым произведением увеличивалась. Сдав набирать свою повесть или рассказ, Тургенев спрашивал Некрасова, сколько им забрано вперед денег. Он никогда не помнил, что должен журналу.

- Да сочтемся! - отвечал Некрасов.

- Нет! Я хочу, наконец, вести аккуратно свои денежные дела.

Некрасов говорил цифру Тургеневского долга.

- Ох, ой! - восклицал Тургенев. - Я, кажется, никогда не добьюсь того, чтобы, дав повесть, подучить деньги - вечно должен "Современнику"! Как хочешь, Некрасов, а я хочу скорей расквитаться, а потому ты высчитай на этот раз из моего долга дороже за лист; меня тяготит этот долг.

Некрасов, хотя морщился, но соглашался, а Тургенев говорил: "Напишу еще повесть и буду чист!"

Но не проходило и трех дней, как получалась записка от Тургенева, что он зайдет завтра и чтоб Некрасов приготовил ему 500 рублей: "До зарезу мне нужны эти деньги", - писал он.

Случалось, что такой суммы не было у Некрасова; я поневоле узнавала об этом, потому что у меня была знакомая, которая не отказывала лично мне в кредите, и не раз в критические минуты я доставала деньги для "Современника". Почему-то я пользовалась общим доверием. Бывало, Панаев задолжает, с него настойчиво требуют уплаты, он в отчаянии прибегает ко мне, чтоб я уговорила его кредитора, и тот соглашается ждать уплаты. Правда, что я немало волновалась и хлопотала об уплате долгов, как только заводились деньги в конторе.

Во время Крымской войны подписка на все журналы была плоха. Старые долги по "Современнику" не были еще уплачены, и надо было вновь кредитоваться в типографии. Эдуард Прац, хозяин типографии, у которого с самого начала печатался "Современник", вдруг заупряился и не хотел выпускать из типографии отпечатанных листов, пока не дадут ему тысячу рублей. Некрасов, бледный, приехал домой из типографии, ругая Праца на чем свет стоит.

- Дурак, немец, идиот! Не верит нам, а требует, чтоб вы поручились в том, что через неделю дадут ему тысячу рублей. Поезжайте к этому идиоту, переговорите с ним, денег я достану, надо избежать скандала! Он упряй, как осел.

Я поехала к Працу, и он тотчас же согласился выдать из типографии листы переплетчику, объявив, что хочет иметь дело со мной и больше ни с кем! Надо было исполнить каприз немца и вести расчет по типографии, пока не поправились денежные дела "Современника".

За год до смерти Грановского, я две недели прогостила у него в Москве [146].

Я нашла огромную перемену в отношениях кружка к жене Грановского. Она была поставлена на пьедестал, и все знакомые преклонялись перед ней.

По утрам у Грановской постоянно были гости с визитами, привозили ей варенье, фрукты, дорогие вина. Кетчер командовал гостями: "Уезжайте-ка, господа; надо отдохнуть Лизавете Богдановне, всякое утомление ей вредно!" - и гости повиновались.

Жена Грановского, потрясенная несчастным случаем с мужем, когда он при падении с дрожжек расшибся, лежала в постели по приказанию докторов. Кетчер следил с необычайною строгостью, чтобы больная аккуратно выполняла все предписания врачей. В первый же день моего приезда к Грановским, Кетчер отозвал меня в другую комнату и прочел наставление, чтобы я не смешила больную, не позволяла бы ей много говорить и т.п. Я стала расспрашивать его о болезни Грановской.

- Признаки наследственной чахотки! Но можно предупредить развитие строгим режимом, - отвечал Кетчер.

Грановский очень был огорчен болезнью жены и жаловался мне, что Кетчер от излишней заботливости и усердия развил в его жене страшную мнительность.

- Такая тоска теперь у нас в доме! Вы, пожалуйста, не обращайтесь внимания на ворчанье Кетчера - отвлекайте Лизу от ее мрачных мыслей. Она все говорит о своей смерти. Все усиливают в ней это мрачное настроение тем, что смотрят на нее, как на умирающую. Право, не знаю, что и делать мне с этим участием.

Мы обедали вдвоем; я заметила Грановскому, что у него прежде был всегда хороший аппетит.

- А теперь кусок в горло нейдет, - отвечал он. - Вот еще при вас съешь что-нибудь, а то ни до чего не дотронешься, так и встанешь из-за стола!

Я настояла на том, чтобы Грановская выходила к обеду, уверив ее, что это будет ей полезно и что постоянным лежанием в постели она расслабляет себя. Она, может быть, и не послушалась бы меня, но я ей сказала, что без нее муж ее ничего не ест. Грановский, вернувшись домой и увидав три прибора на столе, радостно спросил меня: неужели Лиза решила обедать с нами? - и засуетился поставить ей кресло и скамейку. За обедом он был весел, шутил и придумывал, как бы скрыть от грозного Кетчера, что его жена встала с постели: "Будет на меня кричать, что я тиран, эгоист!"

- Свалите все на меня, пусть меня предадут в Москве проклятию, - сказала я.

Грановский в это время уже не ездил по вечерам в клуб, а раз в неделю у него собирались трое родственников его жены и играли в преферанс по самой ничтожной ставке. Остальные вечера он занимался у себя в кабинете и иногда для отдыха приходил посидеть с нами, говоря:

- Пришел послушать, чему вы так смеетесь?

- Я мешаю вам работать? - спрашивала я,

- Напротив, работается лучше, когда слышишь, что в доме смеются.

Грановский всегда ужинал, и я составляла ему компанию, потому что жена его в этот час уже спала. Иногда мы долго засиживались за разговорами; между прочим, он мне описывал чувства, им испытанные, когда он вел большую игру в клубе. На мой вопрос, как он мог втянуться в нее, когда сам говорил, что ни за что не будет играть в азартные игры, он отвечал:

- Я случайно сел играть в азартную игру; один мой клубный всегдашний партнер в коммерческую игру стал приставать ко мне, чтоб я сел за него играть в палки, потому что он страшно проигрался. Я сел и на несчастье мне страшно повезло, я отыграл ему половину его проигрыша... На другой вечер этот же господин опять пристал ко мне, чтобы я отыграл ему и остальную половину, играя с ним в доле. Везло мне опять невероятное счастье, и я на свою

долю выиграл более тысячи рублей. На эту тысячу я стал играть уже один, и мне везло до смешного. Настроение духа у меня тогда было убийственное: перемены в университете, интриги против меня и при этом семейные дразги со стороны тестя, вздумавшего на семидесятом году жениться, и разлад с самыми близкими друзьями, все это вместе способствовало тому, что у меня явилась какая-то потребность бежать вечерами в клуб; там я забывал все!.. Счастье мое меня не оставляло. Но, как всегда, нашла полоса и несчастья. В один вечер я проиграл несколько тысяч, - все, что выиграл раньше и еще долг сделал. Ну, тут я пошел отыгрываться и запутался... Мне теперь самому кажется невероятным, как я мог допустить себя до такого нравственного падения, - но какое заслуженное наказание я испытал, когда один шулер сделал мне предложение вступить в их компанию! Это предложение так меня потрясло, что я ужаснулся, до чего я дошел. Вся жизнь мне придется теперь искупать этот унижительный эпизод моей жизни. Часто просыпаюсь ночью от кошмара: вдруг приснится, что я опять играю в клубе!..

Жена Грановского с своей стороны рассказывала мне свои страдания, когда ее муж увлекся игрой.

- Я теперь так счастлива, что Тимоша бросил ездить в клуб; одно меня беспокоит, что ему скучно, что я все лежу в постели, но это я делаю для того, чтоб скорей выздороветь. Мне теперь не хочется умирать, но когда он возвращался из клуба бледный, убитый, я тогда желала смерти, чтоб избавить его разом от лишних страданий еще обо мне.

У Грановского сделалась как-то легкая лихорадка; его жена страшно перепугалась. Я шутила над ее беспокойством. Она мне на это отвечала:

- Если только Тимоша умрет прежде меня, я в тот же день пойду и лягу на рельсы, когда будет идти поезд. Без него я жить не хочу и не могу.

Она так любила мужа, что я ни минуты не сомневалась, что она выполнит, что говорила.

Когда через год в Петербурге было получено известие о внезапной смерти Грановского, я, страшно пораженная и опечаленная, хотела ехать в Москву к его жене, но узнала, что ее увозят за границу, что она находится в чужом доме и так больна, что к ней никого не допускают...

Вернусь назад, чтоб описать начало 50-х годов. Лонгинов, как член английского клуба, стал записывать туда на обеды Тургенева, Панаева, Некрасова. Тургенев сначала говорил, что многие члены подсмеиваются над манерами Некрасова, и один из них будто бы даже спросил при нем: "Откуда это Лонгинов приводит в наш клуб таких неприличных гостей?" Это он передал по секрету Панаеву, который сообщил мне и просил, чтоб я посоветовала Некрасову не ездить в английский клуб. Но я совсем по другой причине отговаривала Некрасова посещать обеды английского клуба: имея страсть к игре, он мог втянуться в нее. Лонгинов предложил записать Некрасова и Панаева кандидатами в члены клуба. Я воспротивилась, но Тургенев вдруг начал доказывать Некрасову, что он непременно должен баллотироваться в члены, что это необходимо именно потому, что ему надо бывать в обществе, - шлифоваться.

- Ты ведь понятия не имеешь о светских женщинах, - говорил Тургенев, - а они одни только могут вдохновлять поэта. Почему Пушкин и Лермонтов так много писали? Потому что постоянно вращались в обществе светских женщин. Я сам испытал, как много значит изящная обстановка женщины для нас, писателей. Сколько раз мне казалось, что я до безумия влюблен в женщину, но вдруг от ее платья пахнет кухонным чадом, - и вся иллюзия пропала! А в салоне светской женщины ничто не нарушит твоего поэтического настроения, от каждого грациозного движения светской женщины ты вдыхаешь тончайший аромат... вокруг все дышит изяществом. Ты погубишь свой талант, живя сурком, вследствие этого и выходит у тебя слишком однообразный тон и содержание стихов. А когда будешь вращаться в порядочном обществе, попадешь в салон светской женщины, посмотри, как вдохновишься! Баллотируйся, послушайся меня. Да и для журнала это полезно, будут говорить, что ты не прячешься от общества.

Некрасов послушался и баллотировался [147]. Лонгинов очень усердно хлопотал, чтоб Панаева и Некрасова выбрали членами в английский клуб, точно от этого зависело все благо их жизни. Мои доводы потерпели полное фиаско перед Тургеневскими. Я доказывала Некрасову, что он ничего не приобретет для своего таланта, а скорее проиграет, потому что будет тратить много времени бесполезно, тогда как ему нужно в каждую свободную от журнального дела минуту читать серьезные книги, чтобы пополнить недостаток своего образования, что он втянется в карточную игру и завязнет в компании игроков.

Некрасов уверял, что у него настолько силы воли, что он никогда не сделается завзятым игроком.

Некрасов в это время (весною 1853 г.) начал чувствовать боль в горле и страшно хандрить. Мне иногда удавалось упротить его не ехать в клуб обедать, потому что он там засиживался за картами и возвращался домой поздно ночью. Но являлся Тургенев и уговаривал его ехать в клуб именно для того, чтоб сесть играть в карты.

- При твоём счастье и умении играть в карты, - говорил он, - я бы каждый вечер играл. Ведь на полу не найдешь 200 рублей. Вот тебе на счастье двугривенный, поезжай!.. Да и мрачное расположение духа у тебя пройдет. Одевайся и едем вместе!

Некрасов всегда слушался советов Тургенева, который на другое утро прибежал узнавать о результате игры Некрасова и говорил ему:

- Ты должен благодарить меня, что я тебя вчера силою прогнал в клуб. Не слушай ты никого, а играй. Все в клубе говорят, что ты играешь во все игры отлично и, главное, сдержан. Знаешь ли ты, что если бы у тебя было в руках тысяч десять, ты бы много выиграл денег. Получи я завтра наследство, я сейчас бы тебе дал десять тысяч на игру. От нашей паршивой литературы ждать, брат, нечего! Что дало тебе журнальное дело? долги... А сколько труда потрачено на это дело, сколько испорчено крови! Русские писатели - это каторжники. У меня впереди есть наследство, ну, а у тебя что? Последние силы своего здоровья тратишь, а получишь шиш! И как приятно писать, зная заранее, что наша тупоумная цензура поставит красный крест! Лежат у тебя несколько твоих стихотворений и без конца пролежат, потому что их не дозволят никогда напечатать. Ведь мы не европейские литераторы, а татарские, нам нечего рассчитывать ни на почет, ни на обеспечение от литературы. Пушкин тоже вел большую игру, а тогда на писателей еще не смотрели как на прокаженных, от которых надо сторониться.